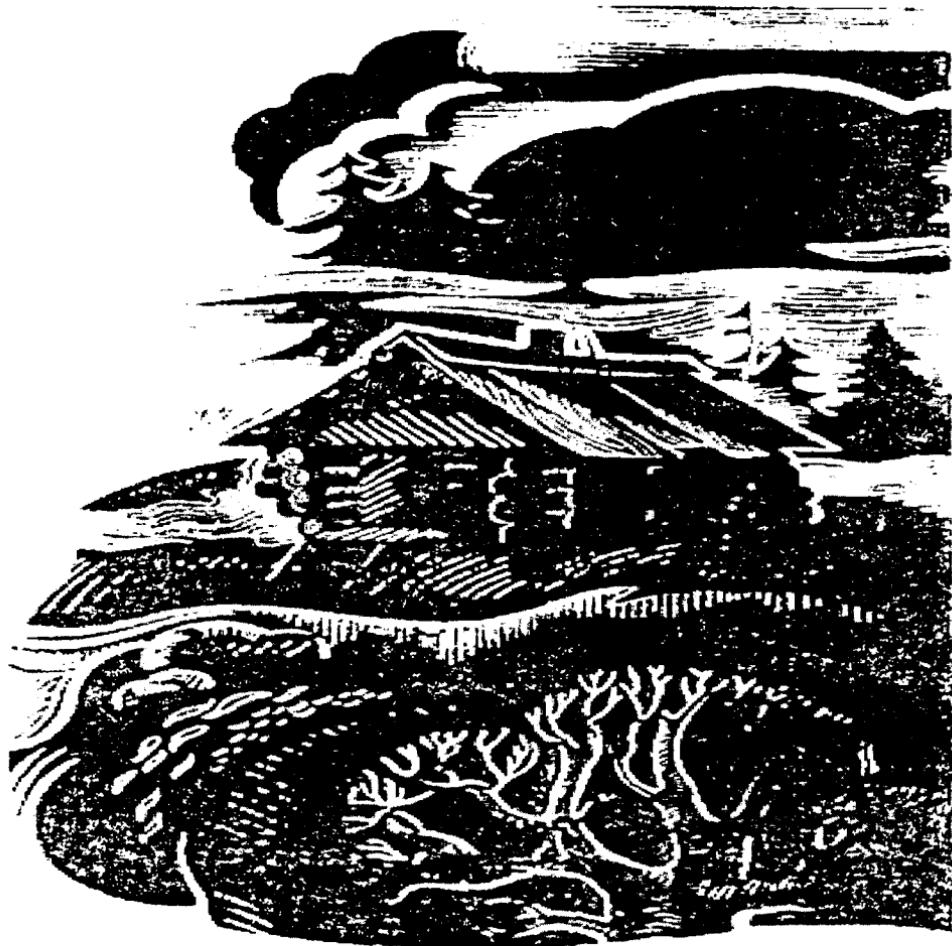


Сергей БАГРОВ



**ОБОРВАННЫЙ
ЗВОН**

С.П. БАГРОВ
«Оборванный звон»
Исторические рассказы
Вологда:2003 - 36 с.

Большинство страниц этой книжки связано с Тотьмой, с теми, кто смотрит на нас из былого глазами Невольки Шумова, Илюшки Пономарева, Федосьи. Словом, тех, кто мечтал, восставал, ошибался, дерзал и любил, проходя по судьбе, как по тонкому льду, под которым - глубокая неизвестность.

Bel
och. die
Kunst- und
Kulturstadt
Vologda.
Montag
16.11.2003

21.10.9

Вологда
2003

Борис

ОБОРВАННЫЙ ЗВОН

«О Невольке-то нашем я помню от мамки своей, Пульхерьи Ивановны Шумовой. А она о нем знает от бабки Натальи. Наталья же это на память себе положила тоже от сродственных бабок. Сколько их было, сказать затрудняюсь. А к ним от дедушки перешло. Тот доводился Невольке единственным сыном. Всё так и было, как я рассказала».

Вера ШУМОВА, уроженка г. Тотьмы, ныне живущая под С-Петербургом.

В голубой теплый день святого Сергия, когда свозили с полей солому, рубили капусту, стригли овец и резали кур, на колокольне собора Богоявления заговорили медные языки, разливая на весь уезд с высокой звонницы страшную весть. Неволька Шумов тряс ужищами, чтоб настроить звон и больших и малых колоколов на тревожащий сердце мотив.

Неволька первый увидел, как от посадов Тотьмы, проехав мост и воротную башню, спешился крохотный человек в синем стеганом полукафтанье и, заскочив на рундук белостенной земской избы, лицом к лицу столкнулся с тотемским воеводой.

Сивобородый, ражий Федор Михайлов, разодетый для праздника в светлый, цвета пшеничной соломы камчатный каftан и козловые, на татарский манер вверх носками шитые сапоги, смутился перед гонцом, всклокоченный вид которого выражал смятение и опасность.

- Чего, Игнашка? – заторопил воевода.

Старообразое лицо вершника исказилось, когда он хрипло заговорил:

- Ляхи-злочинцы...
- Где? – оборвал наместник.
- В Совинской. Посекли Омельяна Оленева, Семена Синюху, пожгли семь домов, снасилили жонок...
- Дозорь, Игнатей, за ними, да непромешно! – вновь оборвал воевода гонца и проследил, как Игнашка, вскочив на чепрак, погнал гнедого по мостовой. А потом поднял бороду к колокольне и, встретясь глазами с Неволькой, гаркнул:

Р/4 1344026

- Вдарь на всё воеводство!

Настраивался Неволька на благочинный торжественный звон, каким каждый год привечали в городе Сергиев день. И по такому случаю взял с собой кузнецова дочь Олёну Углову, румянощёкую, рослую девку, на которую пялил глаза каждый второй басалай. Для того и взял, чтоб Олёна могла подивиться высокими теремами, башнями, стенами и рекой, да еще им, Неволькой, полюбоваться, поглядеть на его работу и послушать хмельной благовест.

Неволька сгрёб Олёну в охапку, поцеловал жутким радостным поцелуем и побежал собирать ужица колоколов.

- Поди! – оглянулся наторопях и приметил, как нехотя, подневольно спускалась Олёна в лаз, исчезая в нем ногами в скрипучих берестяных сапогах, кафтаном с оборами на спине и франтовато сидевшем на голове кумачёвым кружком, позади которого трепыхались две ленты.

- Оконницу отопри, взберусь вечёр в *ложню*! – бросил Шумов вдогонку и, оглушенный рёвом колоколов, стал следить, как от церкви Рождественской, от *губной избы*, от осадных, гостиных, посадских дворов торопились к острогу в пестрых поддевках, азямах и зипунах простецы-слобожане, все те, кто в опасный для родины час был готов поспешить под святую *хоругвь*.

В воротах острога с четырьмя угловыми башнями и сплошным забором из бревен стоял воевода Михайлов, успевший надеть на себя доспех, и теперь сверкавший на солнце заклёпками, кольцами и шипами. Возле него – губной староста Затрапезин, человек прямодушный и храбрый, гроза и кара всех провинившихся слобожан. Тут же земский городовой Поливаев, долгоногий, с большим животом и безбровым лицом, на котором застыло чинное выражение государственной строгости и опеки. И целовальник Драницин с могучей, до пояса бородищей, и тоненький поп Володимер. Каждый давал воеводе совет.

Михайлов стукал кованым древком копья по мощёному камню, кивал бородой и никому не внимал. Лицо наместника было бледным. Он понимал, что времени мало, и надо немедля решить: то ли в осторожной крепости затворяться, то ли пойти навстречу врагу? Мысли в его голове шли тревожно и резво, как ночные дощаники по реке. Было с чего ему сокрушаться.

В прошлом году, в эту же пору, по сентябрю польский гетман Хоткевич с разбойничьей шайкой ударил на Вологду, разграбив ее и

спалив, а воеводу Окольничего с князем Григорием Долгоруким посадил на колы. Лишь князь Иван Одоевский да кое-кто из посадских остались в живых, найдя прибежище в Шуйском. Теперь такая же участь грозила и Тотьме. Какими силами защищать? Сорок пищалей ручных, девять *затинных* да три десятка стрельцов. «Вся надёжа на слобожан», - думал тотемский воевода и с удовольствием слушал, как рос стукоток лаптей-шоптунов, гранёных сапог, кожаных котов и паголенок. И бледность сошла с лица воеводы, когда он увидел толпу, которая всем своим видом подсказывала ему, что здесь, перед ним те самые русские люди, которые будут стоять за землю свою не на жизнь, а на смерть.

А Неволька звонил и звонил. Лишь когда рука воеводы взялась за *крыж тесака* и взмахнула булатом к небу, он повис на *ужицах* и заглушил разъярённые языки. И тут же нырнул в тесный лаз, вращаясь винтом по сумрачной лестнице колокольни. Выскочив на рундук, он увидел мелькавшие треухи, колпаки, лысины и загривки, которые шли оружаться к *тайнишной* башне, где находились секретные склады с оружием и зельём.

Невольке достались ржавый бердыш и меч с кривым в форме креста, на который ложились обе его ладони. «Кто - никак, а я отмахнусь!» - подумал звонарь, мысленно представляя того православного воя, который когда-то орудовал страшным булатом, ссекая головы татарве.

Михайлов в круглой железной *мисюрке*, с сетью-бармицей по плечам промчался на бешеном аргамаке, а следом за ним, тоже верхом пронеслись Затрапезин и Поливаев. «На разведку!» - смекнул Неволька и, вспомнив с жалостью об Олёне, понял, что надо ему поспешить.

Отвязав от бревенницы повод бог знает чьей кобылицы, залез на острый её хребет, приторочил свой меч и пустил лошаденку к таможне, за которой теснился Оленин двор.

Он не доехал до площади, как навстречу с яростным храпом, обгоняя друг друга, метнулась тройка коней, неся на кожаных седлах хозяев уезда.

Воевода грозно взглянул на Невольку.

- Назад! – рявкнул земский городовой.

Губной староста улыбнулся:

- Пущай сшибётся. Молодец добрый. Авось и упестует кое-кого.

Раззадорился Шумов, поехал дальше, минуя дом боярина Талашова, двор служилых и тяглых людей. Но только высунул голову за проулок, как весь тревожно похолодел.

От коновязи базара на маленьких лошадях шла полусотня гусар с черными крыльями за плечами. «Демоны!» - Шумов с поздней догадкой сообразил, что ему не уйти, только попробует развернуться, как тут ему и лежать с перерубленной головой. Неволька с решимостью человека, которому так и так пропадать, шлётнулся пятками по кобыле, схватил зубами узду и, подняв в две руки долгий меч поскакал на гусар.

Полусотник с гербами на рукавах заприлаживал было пищаль, прижимая ее к плечу, да Неволька опередил и с православно яростным: «Нету на вас Христа!», ссадил с вельможного пана его оперённый гусиным хвостом темный шлем. Ударил он слишком резко и едва не слетел с чепрака. Меч звякнул о мостовую, и Шумов, жмуря глаза, пронесся мимо гусар, изумляя их своим безрассудством. Он скакал в боковой заулок, дальше – по берегу Сухоны к рытому рву, за которым высились стены острога.

На бруscатый мост через ров Неволька заскакивал вместе с гонцом воеводы Игнашкой, который хлестал коня канчуком и не верил, что жив и теперь перед ним под дубовой аркой отворяются створы окованных медью ворот.

Едва они въехали, как Игнашку потребовал воевода. Низкорослый вершник еле стоял, ноги мелко тряслись, а запекшийся рот дергался, словно у рыбы.

Михайлов жестом руки усадил гонца на рундук и велел принести оловянник. Выпив морошечного вина, вершник взбодрился.

От слов разведчика стало ясно: в посады ворвался польский отряд. Во главе его лихокорыстный бесстрашный сотник Грыжинский, которого не берет ни стрела, ни секира, ни меч. В отряде две сотни пеших, полсотня гусар, имеются стадо коров, лодки-дощаники, одна половина которых с награбленным мехом, зерном и утварью правится вверх по реке, а вторая – оставлена в Тотьме, чтоб здесь загрузиться новым добром. Идет отряд от архангельских Холмогор, под Устюгом выдержал бой, откуда часть иноземцев пошла на Кичменгский Городок, а часть сюда, на посады и крепость Тотьмы.

Растерянность и тоску излучали глаза воеводы. Как быть? Посмотрел на губного старосту.

- Надо спасать слобожан, - сказал Затрапезин и пожилое лицо его выразило готовность взять на себя команду отрядом стрельцов, чтобы выйти немедленно за ворота.

- А ты чего мыслишь? – воевода прошелся взглядом по выползвшему из-под кольчуги брюху городового.

Поливаев умел угадывать скрытные мысли того, кому приходилось служить, потому решённо ответил:

- Лучше с вылазкой погодить!

Было еще светло, солнце закатывалось за ельник, пахло листвой, над рекой в синем небе таяла стая отлётных гусей. Вдоль крепостной из поставленных плотно впритык толстых бревен стены разместились стрельцы, слобожане, служители храмов. Поп Володимер с болтавшейся *панагией* на рясе, на которой мерцал надменно-суровый князь Невский, спешил с аршинной иконой к южной стене. Установив божью матери над верхом стены, перекрестился и заявил:

- С нами крестная сила! Всех хрещёных обережёт!

От города потянуло гарью, послышался женский визг, цокот подков, визг бричек и чей-то громкий потешливый хохот. Солнце еще не зашло, а ляхи уже окружили стены, и на огромную в нимбе вокруг головы божью матери посыпался ливень перёных стрел.

Запылали ближние теремки, сенники, житницы и овины. Стайка драгун, одетых в суконные польские кунтуши, на долгохвостных конях продолжала объезд по дворам, поджигая всё, что быстрей и яростней загорало. А к стоявшим на Сухоне пустопорожним дощаникам-лодкам подвозили в повозках награбленное добро. Плач стоял по задворьям. Горестный плач, призывающий укрывшихся в крепости слобожан заступиться за честь дочерей и женок.

Дрогнул Шумов и волосы завставали под стёганым треухом, когда он услышал знакомый голос:

- Неволька! Олёну твою схватили! *Перезор* мне теперь! *Перезор*!

При свете пожара, лизавшего крыши домов, Неволька увидел телегу, спускавшуюся с угора, в которой два ляха вязали Олёне руки, а третий, ступавший за лошадью, крупного роста, в сверкающих латах, с кудерками светлых волос из-под шлёма давал им какой-то веселый совет.

- Сотник Грыжинский! – крикнул откуда-то из-под локтя спорый Игнашка. Неволька схватил у него пищаль, приладил ее к стене,

однако, смекнув, что пуля не долетит, бессильно и злобно скрипнул зубами.

От Песьей Деньги бабахнула пушка, и затрещали бревна в стене, образуя пролом. Икона вдруг закачалась, пробитая множеством стрел, торчавших в ней густо, как вицы осеннего голика. Поп Володимер с бойкой поспешностью начал ее укреплять над стеной, но жалобно ойкнул и со стрелой, угодившей ему в пагагию, упал на дощатую стлань, увлекая за древко и божью матерь, в глазах которой качались охвостья вонзившихся стрел...

- Звонарь! – окликнул Шумова Затрапезин, выезжая с горсткой вершних стрельцов за воротную башню.

Неволька не внял призыву. Он просто его не расслышал, ибо глядел на Олёну, которую сняли с телеги и бросили в длинный дощаник, где, приготовясь к отплыву, сидела ватажка гребцов. Душа Невольки затрепетала.

Очнулся Шумов через минуту, когда приметил икону, лежавшую на груди убитого чернорясца. Подбежал, вытащил стрелы из золоченого лика, ткнул древком в щель между бревен и тут заметил городового.

Поливаев бежал в расстегнутой настежь кольчуге и в круглой мисюрке, каким-то чудом державшейся на носу, махал бесполково руками и что-то кричал. Подальше, за ним по булыжным камням скакали, как в паре, плотно прижавшись друг к другу два аргамака: на правом с разрубленной головой – губной староста Затрапезин, на левом – державший в обнимку мертвое тело, раненный в грудь *человальник* Драницин. Неволька успел рассмотреть летевшие через мост магерки и перья на шапках гусар. И тут ворота заскрежетали, захлопнулись, брякнув медной оковкой. И волосатый сторож Силантия задвинул пудовый засов.

В проломе южной стены, куда угодили снаряды, мелькнули щиты с крестами и *алебарды*, пробивая дорогу среди крашенинных рубах. Упал с раскроенным горлом отец Олёны могучий, как конь, Василько Углов. Пошатнулся и, обронив копье с отсеченной рукой, отошел к алтарной стене сын боярина Талашова.

К месту прорыва спешил воевода Михайлов, спуская с мисюрки на свой толстый нос железную стрелку. Рядышком с ним – запыхавшийся, красный, как меденик, городовой.

- Так и так верх за ними! – частил Поливаев. – Покуд не поздно, выкинем белый флаг.

Наместник остановился, сжал крыж зубристого тесака, шлепнул плащмя по отвисшей брюшине городового:

- Коли не сбросишь их в подугорье – в срубе спалю! – И показал тесаком на щиты с крестами.

Поливаев понял свою обреченность и, обмертвев, затворил на застежки кольчугу.

- С-сюда-а! – тоненько закричал и, быстро-быстро перебирая ногами, первый бросился на щиты, удачно проткнув копьем чью-то суконную однорядку.

За Поливаем устремились Неволька Шумов, бледный, как мел, целовальник Драницин, однорукий Илья Талашов, трое стрельцов и трое посадских и все те, кто сошел с восточных и северных стен.

Откатились ляхи по склону к берегу Песьей Деньги, где от горевших мытниц и бани было светло и просторно, как днем, только вода краснела тревожно, и пожар, отражавшийся в ней, казался каким-то ненастоящим.

Сотник Дрыжинский поднял высокий меч, помахал им, давая сигнал всем гребцам, чтобы те бросали посудины и спешили к нему на подмогу. Велик и красив был поляк. Изящно, как бы любуясь самим собою, сделал несколько легких шагов, приближаясь к ораве русских и, качнувшись вперед, погрузил долгий меч по ручаг в отвисшее брюхо городового.

Неприятно, пронзительно-тонко, по-бабы завизжал умирающий Поливаев. А Дрыжинский с жестокой ухмылкой человека, привыкшего убивать, искал глазами новую жертву. Приметив хоругвь, а под ней рядом с крохотным знаменосцем сивобородого воеводу, оскорбляющим голосом:

- Быдло!

И Федор Михайлов, который берег свою честь пуще жизни, резво двинулся на него, отразил тесаком два удара, а от третьего – зашатался и, упав на колено, предсмертно захлопнул глаза.

Рано захлопнул. К Дрыжинскому торопился Неволька, долговязый и быстрый, в коротком, поднявшемся выше талии *балахоне*, в большом, из рядного холста *treuixe*, с польским щитом и русским чеканом.

- Кранки тебе! – крикнул Неволька, взмахнув чеканом, молоток которого жестко скребнул по стальному надплечью.

Дрыжинский ответил ударом сбоку, но попал в поставленный щит и кому-то скомандовал:

- Конча-ар!
- Жихарко! – заругался Неволька. – Мало жонок снасили! Теперь до Олёны добрался! – И вновь опустил свой чекан, топором срубая со шлема два высоких гусиных пера.

Сотник медленно отступил, выронил меч и тут же в его руке появился кончар, который ему подсунули сзади.

Не знал Неволька, что этим граненым штыком пробивают стальную броню, потому усмехнулся, когда Дрыжинский пихнул кончаром прямо в щит. Загорелось в груди звонаря, и он удивленно взглянул на ночное со звездочкой небо, которое вдруг накренилось и стало идти колесом, колесом. Падал он с удивленной улыбкой и с неубывной силой в руке, державшей длинный чекан, который тоже пошел колесом, колесом, пока не врубился в голову ляха.

Старообразый Игнашка пронзительно свистнул, поднял стяг с атласной хоругвью и побежал на зловещий прилесок стальных алебард. Слобожане все, как один, рванули под знамя.

Песья Деньга впадала в Сухону, и в пожарном свете огней ее ход был торжественен и ужасен. В бурных струях мелькали тела, взмывали вверх руки, кто-то кричал, кто-то бил ладонями по воде, кто-то захлебывался и плакал.

А Неволька лежал на обрыве реки, раскинув длинные руки, сжимавшие, как в бою, топорище чекана и петлю щита. Кровь струилась из раны все медленней и спокойней, и чем меньше ее оставалось, тем сильней звенел в голове благовест. Слушал его звонарь, как в радостный храмовый праздник. Слушал, пока он круто не оборвался, и неживые глаза Невольки уставились на Олёну, которая бросилась на него, крепко-крепко зацеловала и вдруг отпрянула, изумилась и, зарыдав, расплескала свое неутешное горе на всю слободу, на всю Тотьму, на всю затаенно-тревожную Русь.

ЕСЛИ МОЖЕШЬ – ПРОСТИ

«...поймали по за Сухоною рекою на болоте от Тотьмы
верст за пять... И велел я холоп твой пытать накрепко и
огнем жечь. А декабря в 12 день Илюшка Иванов с товарищи
на Тотьме на реке Сухоне повешены».

Из отписки царю тотемского воеводы Максима Ртищева.

Посыпал атаман Степан Тимофеевич Разин по всем проселкам, ведущим к всем и городам, верных глашатаев, чтобы те подымали под знамя восставших кабальных людей. Одним из таких посыльщиков был Илюшка Пономарев. Шел Илюшка по берегу Волги, храня в кармане сермяжного зипуна грамоту атамана. Был казак смел, проворен и быстр. Читал призывные строки письма огородникам, бортникам, кузнецам, дегтярам, извозчикам и крестьянам. И когда случались облавы, исчезал из-под самого носа стрельцов. Но однажды в одном из проулков Козьмодемьянска был пойман, избит и доставлен в съезжую избу.

Допрос вел воевода Иван Побединцев, краснолицый, осанистый человек с немигающими глазами. Смотрел Илюшка на деревянное колесо, на паклю в руке палача и горько вздыхал, расставаясь мысленно с жизнью. Однако час муки еще не настал. В съезжую избу вбежал быстроглазый и юркий, как сурок, подъячий Василий Богданов.

- Ворово войско под городом! – бросил с порога.

Пономарев был отправлен в тюрьму. Стоял сентябрь, и в подклеть сквозь крохотное оконце доносились запахи палых листьев. Илюшка вдыхал их с жадностью человека, который скоро уйдет на покой. Хотелось жить, и может, поэтому больно и сладостно думалось о покинутой им в черкасском городе Кадоме Груне. И о матери думалось. И о друзьях.

Ночью Илюшка слушал звуки заснувших посадов, различая средь них отдаленные крики, звон муляжей, треск заплотки и ржанье скакавших коней.

В город входили постанцы. В первых рядах на гнедых аргамаках Черкашенин и Синбирец, два атамана с войском в несколько тысяч

русских крестьян, луговой черемисы, казаков, татар и мордвы. Но были повстанцы неопытны в ратном деле и гибли один за другим под стрелецкими бердышами. И неизвестно, чем бы закончился приступ, если бы местный пристав старшина Миронко Мумарин с ватагой козьмодемьянцев не обрушился на стрельцов, напав на них сзади.

Воевода Иван Побединцев побагровел, задрожала в руке секира, когда разглядел за спиной у себя в городских переулках вооруженных посадских людей во главе с предавшим его старшиной. «Оплошал!» - сказал себе воевода.

- В *домовину* готовься! – крикнул ему Миронко, прорубая гвоздатой палицей проулок меж царевых слуг.

Первыми к воеводе пробились есаулы Андрюшка Власов и Митька Семенов, оба ловкие, тонкие, с разбойно сверкающими глазами. Побединцев рухнул, будто подкошенный сноп.

- Теперь - в тюрьму! – махнул Мумарин палицей к низкому дому.

Затрещали ворота, лязгнул замок, полетел с рундука в подкрылечную лебеду подъячий Василий Богданов. Посадский ремесленник Васька Ус, выломав в подклети дверь, дал жест рукой, выпуская на волю тюремных сидельцев, среди которых был и Илюшка Пономарев.

На тайном кругу Илюшка Пономарев выбран был атаманом малой ватажки.

В эту же ночь, покинув табор повстанцев, где царила дежка, склока и даже вражда, ватажка двинулась по Ветлуге. На двух семивесельных лодках шла она меж поросших соснами берегов. Шла два дня и три ночи. На четвертое утро пристали к селу Николаевскому, вотчине царского оружейничего Богдана Хитрово.

Поскрипывала под кожаными баходами подмерзшая мурава. Ватажка шла отчаянным шагом. С березовых веток кричали галки и вороньё. Из обтянутых бычьими пузырями окон выглядывали бледные лица, в глазах которых стоял вопрос: с добром или злом явились сюда незванцы?

От реки до рубленой в два этажа боярской храмины сотня шагов. Разинцы осадили двор и кинулись в комнаты дома.

Час спустя Миронко Мумарин сидел на боярском крыльце и широкой, как заступ, ладонью выгребал из мешка оброчные деньги, раздавая их боякам.

- Сколько задолжал боярин, столь и бери! – кричал крепким басом, и скеластое с крупными челюстями лицо светилось улыбкой

великодушия и привета. - Примай – и не кланяйся! Мало – насыплю ещё!

Миронко, пожалуй, раздал бы все деньги. Потому Илюшка забрал у него мешок и хмуро спросил:

- Войску чего оставил?

- По мне, - ответил Миронко, - лучше раздать дружевьям!

Илюшка сдвинул сивые брови и белыми, как молоко, глазами уставился на Миронка:

- А войско пущай с пустою казной?

- Пощо с пустой! – улыбнулся Мумарин. – Мы же дале пойдем. И недругов, слава богу, встретится, о-о как много! У них и пополним.

Ревностью охватило Илюшко сердце. Взяв мешок, он ушел с ним в господскую залу. Не денег жалко было Илюшке, а атамановой славы, на которую, как ему показалось, навострил Миронко свой зуб. Но скоро ревность приунылась, и на ум явились дела ватаги. Надо было множить отряд. Пономарев приказал примкнувшему к их отряду попу Гришке Ковлеву, самому умному грамотею, размножать прелестные письма.

Гришка с ловкостью разбитного подъячего земской избы навел из сажи чернил, отыскал перо и бумагу, уселся в плетеное кресло и, уронив на столешню веер свесившихся волос, стал с усердием переписывать важные строки.

«ПРЕЛЕСТНАЯ ГРАМОТА

Пишет вам Степан Тимофеевич всей черни. Хто хочет богу да государю послужить, да великому войску, да Степану Тимофеевичу, и я выслал казаков. И вам бы заодно изменников бить и мирских кравапивцев вывадить.

Мои казаки како промысл станут чинить, и вам бы, черни, итить к ним в совет, и кабальные и апальные шли бы в полк к моим казакам».

К полудню Гришка закончил, представив Илюшке пять переписанных грамот. Илюшка тотчас же послал по ближайшим селеньям гонцов с хорошими голосами.

Посыльные разошлись. И стали читать атамановы письма, призывая кабальных людей вступать в боевую ватагу, которой вольно бить притеснителей голытьбы, спасая народ от нужды, бесправия и побора.

Дунуло ветром свободы, и крестьяне заволновались. Из сел Воскресенского, Баков, Дмитровска, из деревень по реке Лапшанге повалили толпы с кольём, дубинками, вилами, косами и ломами. Собралось четыреста человек. Илюшка разбил ватагу на сотни. Пять пестрядных красных знамен поднялись в головах колонн, которые атаман повел по лесным дорогам на Унжу.

Горели грозья осенних рябин, украшавшие усадьбы помещиков и бояр. Горели глаза опорошников, дворников и холопов при виде дрожащих господ, которым еще вчера было смело творить над ними жестокие самосуды, понуждать их работать, как скот, разорять хлевушки и нивки, бить плетями и батогами, позорить их дочерей.

На дощатый чан посреди деревенской площади становился Илюшка Пономарев – светлорусый и долгоносый, в одной руке – бобровая шапка, в другой – молоток. Становился и объявлял гольтьбе о свободе, за которую надо еще постоять и призывал мирский сход вступать под пестрядь казачьих знамен.

И люди, внимая речам атамана, вступали в его ватагу и шли от селенья к селенью, лобаня бояр, приказных, дворян и всех тех, кто живет чужими трудами, и вызывал в себе ненависть и презрение.

Войско Пономарева росло. Пополняли его жители курных изб, надетые кто в овечью ветхую гуньку, кто в суконный кунтуш, кто в крашеный зипунок, кто в кошулю, кто в шитое на живую нитку холщевое платье. Сам атаман ехал в расшитом по поясу и рукавам нарядном кафтане, козловых красных сапожках и шапке с бархатным верхом. И думы ложились ему на сердце празднично и светло. Ни много, ни мало, семьсот человек ведет за собой. И блестят в тусклом свете предзимнего дня топоры, копья, косы и вилы. Кто ему страшен с этакой силой? Никто! Лишь один Миронко Мумарин сомневается в том, что ватага в хорошей моци. И потому, слушая старшину, Илюшка не понимает:

- Ну чего нам с тобой бояться? Чего?

- Зимы, - говорит Миронко и его скуластое с рыжим загаром лицо печалится и темнеет. – Летом ватаге можно укрыться в любой яруге. А где – зимой?

Знал Илюшка, что против царева войска при пушках, пищалях, секирах и копьях его отрядам не устоять. Но откуда здесь взяться стрельцам? До Москвы пятьсот с лишним верст. Так что нечего опасаться.

- Зимой на посадских фатерах будем стоять, - отвечает Пономарев, а сам про себя смеяется, что надо держать путь на север. Сперва на Унженский Городок, после – на Леденгское Усолье, а там, быть может, на город Тотьму, где и оставаться до теплых времен.

- Надо идти на Пермь или Устюг, - говорит убежденно Мумарин, - там нас стрельцы не достанут, и войско свое сохраним. А тут ожидай *серденят* на каждой версте.

- Ты от ворога за реку, а он на том берегу, - ухмыльнулся Илюшка и, похлопав рукой по грузной спине старшины, добавил: - Завтра будем брать Унжу. Я туда посыпал с письмом Тонконогова. Он седни вернулся и говорит, что унженский поп с чернью бунт в Городке затевает, и что стрельцов там всеово ничево.

- Не надо брать Унжи! – заспорил Миронко. – Мекаю: эти стрельцы из Москвы, и вязаться с ними опасно, потому как за ними должны подойти коренные силы, от коих мы можем пропасть. Покуда не поздно, надо сворачивать на восток...

Атаман разозлился, хлестнул плеткой по крупу коня и с обидой на старшину ускакал к головному отряду.

Заходили в Унженский Городок перед вечером, в сумерках, в тусклом свете зари-блескавицы. Боя не было. Горстка стрельцов отступала на Галич. Старший над ними сотник Федор Поливкин был неистов и зол и махал тесаком так, что повстанцы не смели к нему подступиться. И тут из-за темных амбаров выскочил поп в армяке поверх рясы и в камилавке. Пропахав ногами дворовый снег, ухнуя долгой оглоблей, под которой не устояли сразу двое стрельцов.

- Кто такой? – крикнул ему Илюшка.

- Тимофея Андронникова! – ответил бодро духовник.

Любопытно Пономареву:

- Поп, а бьесся со мной заодно?

- Дак я поп-то из черного духовенства. А черное с чернью живет в одно сердце!

- Значит, со мной до конца?

- С войском твоим!

Скрипит под козловыми сапогами свежевыпавший снег. Атаман ступает чинно и неторопко, как хорошо поработавший в поле работник. Шапка порублена на верху, на правой скуле розовеет коротенький шрам, уставшие руки дрожат, а белые, как молоко, глаза ощупывают проулки, где грязные рубища, дым, запах пота и крови, лежащая мордой в заборе убитая лошадь и несколько тощих

сидельцев тюрьмы, отпущеных только что на свободу. А вон есаул Федька Ронжин, мордатый и красный, с льяными усами, ведет шестерых обреченных стрельцов. Илюшке важно узнать: из Москвы они посланы или нет? Потому задает вопросы настойчиво и угрозно.

Царский сотник Федор Поливкин, человек седебровый и рослый, презрев предстоящую смерть, отвечает с усмешкой:

- Мы войском Московским высланы наперед. С нами малая сила.
- А с кем большая?
- С воеводой Нарбековым.
- Он тоже сюда идет?
- Тоже.
- А когда подойдет?
- К утру.

Кровь отхлынула от лица атамана. Он отвернулся и увидел, как с неба падали снежные хлопья, алея от вспышек факелов и костров. Понял Илюшка, что он попал в западню. Зря не послушался он Миронка. Напрасно на Устюг не повернулся. От погони уже не уйти, а встречаться с Нарбековым грудь на грудь было бы глупо и безрассудно.

Всякий казак опасается смерти, если можно ее избежать. И Илюшка ее стерегся, благо жизнь свою не хотел задёшево продавать. И если пару часов назад атаман полагал, что с ватагой своей он где-нибудь спокойно и тихо перезимует, то сейчас стало ясно ему, что этому не бывать. А чему же бывать? Неужели разгрому ватаги и гибели сотен ее бойцов? Душа у Илюшки пьяно и радостно встрепенулась: «Умел пожить – умей помереть!» Но явилась на ум жалостно-трезвая мысль: «Рано еще помирать. Ведь по сути я еще как следует и не жил... Собираюсь лишь жить...»

Ночное безмолвие Городка было вспугнуто скрипом полозьев. На пяти лошадях уходил Илюшка Пономарев, украдкою покидая ватагу. В переодетом в клобук и суконную манатью *чернеце* трудно было признать сурогого атамана. В вожжах у Илюшки сидел детина-тотьмянин беглый стрелец Петро Петухов. За Петуховым гнали коней ямщики есаулов Андрюшки и Митьки. На душе у Илюшки было нехорошо. Когда развиднелось, и белый клин света лизнул по заснеженной нивке, атаман понуро вздохнул и вспомнил Миронка, который, наверно, сейчас пробудился и, растерянный, с горем в груди ищет пропавшего атамана. Или бьется в эту минуту с царевым войском? А может, и умирает, пробитый насквозь стрелецким

копьем? «Пойми меня, Миро, и коли можешь – прости, – шептал опечаленный атаман, ища для себя достойного оправдания. – Не всем же голутвенным изыхать. Надо кому-то и вживе оставаться. Без нас, атаманов, нашему делу конец. Кто, как не мы, по весне разбудим работную чернь? Кто ей даст надышаться досыта воздухом воли?»

Атаман снова переоделся, теперь в соболью с красным вершком высокую шапку и камчатный желтый кафтан с подкладкой из дымчатой тафты, спрятав за внутренний пояс пистоль и короткую саблю.

Петро Петухов вел конный поезд лесными путями. Минуя Леденгское Усолье, стал коситься с опаской как на попутных, так и на встречных людей и, когда те спрашивали его: куда и зачем они едут, глядел озадаченно на Илюшку. Илюшка же каждому отвечал, что он казанский купец и едет в Тотьму с обменным товаром.

Последним спрашивал атамана леденгский житель Панко Замятнин. Он-то нечаянно и увидел на поясе у Илюшки ножну от турецкой сабли, и потому по приезду в Тотьму тут же бросился в съезжую избу.

В пяти с половиной верстах от Тотьмы, за речкой Черной, в сосновом болоте расположился на отдых отряд Илюшки. И почивать бы ватажникам здесь под тулупами до утра, да нагрянула сотня стрельцов. Сонных повстанцев связали и через час по зимнему большаку доставили к воеводе.

Допрос проводили в холодном застенке. Илюшку ввели со связанными руками. Он посмотрел на строгие лица секретаря, воеводы, подъячего с чистым листом бумаги и понял, что будут пытать. Кат в долгополом красном кафтане толкнул его к крашеной дыбе, замкнул обе руки в хомут, связал стопы ног и начал вывешивать на веревке. Послышался хруст суставов, и боль пронзила Илюшкины плечи так нестерпимо, что атаман застонал. Тотемский воевода Ртищев взглянул на Илюшку:

– Кто таков? Откуда? – и кивнул намекающе палачу.

Кат запалил от коптилки березовый веник и поднес его под босые ступни Илюшки. Атаман торопливо заговорил.

Дважды его подвешивали на дыбе и дважды вправляли суставы в плечах, заставляя выкладывать все подробно.

– Где сейчас ваше войско? – задал Ртищев последний вопрос.

Илюшка не знал: цело ли войско, что стало с Миронком и кто из ватаги остался жив? Глядя с дыбы на бело-слоистое, с крупным носом лицо воеводы он вдруг решился его попугать.

- Старшина Мумарин с ватагой идет за нами на Тотьму. Будет тут с понедельника на вторник...

Лицо воеводы еще сильней побелело. И он, пошептавшись с секретарем, ушел из застенка, чтобы немедля послать в засаду стрелецкую сотню. Он и послал, и сотня его трое суток сидела в сугробах за ельником Черной речки.

На алой заре, под палящим морозом атамана Илюшку Пономарева с есаулами, ямщиком и двумя рядовыми казаками привели на обрывистый берег, глядевший на снежную Сухону жутким сооружением. Всех шестерых заставили встать на скамейку. А на вторую скамейку, что сзади, поднялся одетый в тулуп вишнево-алого цвета высокий палач. Его руки в вязаных рукавицах опускали на шеи петли. Илюшка почувствовал холод веревки и торопливо повел глазами сперва на Кореповский ров, потом – на посады Зелени, на луковки дальних церквей, на высокий острог и, наконец, на дорогу, бежавшую склоном правого берега через реку. Была секунда, когда он поверил, что сейчас на дороге покажется храбрый Миронко, увидит его и махнет ватаге рукой. И навстречу Илюшке помчатся его казаки и, конечно, успеют к нему до того, как кат пнет своим валенком по скамейке. Успеют и перебьют воеводу стражу и вынут его из веревочной петли. Илюшка горестно улыбнулся, и в этот момент скамейка прыгнула из-под ног. Красной стремительной птицей взмыла по небу заря, качнулись на берег сугробы. И расплывчато, радостно, словно во сне, явилось лицо Миронки. «Жив ли ты, друже?» - мелькнуло в сознании атамана.

НА ЖИЗНЬ ПОРУКИ НЕТ

*«Мне о том рассказывали сосны
По лесам, в окрестностях Ветлуги...»*
Н. РУБЦОВ.

К слюдяным оконцам поповского дома еще приваливали потемки, когда Миронка Мумарина разбудили, и он, непроспавшийся, злой, поднялся с овчины и увидел попа-чернеца. Тимофей Андронников в армяке поверх рясы ловил распоясавшийся кушак, завязывая его на брюхе.

- Вставай, черт товстой! Нарбеков идет!

В миг освежел Миронко, схватил с сундука сермяжный зипун и, надевая его, спросил:

- Где атаман?

- Пропал, Миро! – ответил из-за спины чернеца есаул Федька Ронжин, красноносый, жилистый исполин с льняными усами. – Весь Городок общарил. Как мылом взяло. И Ондрюшка куда-то девсе, и Митька.

Сомкнул старшина лохматые брови, и те наехали друг на друга. «Куды же они, теклецы, подевались?» - спросил Миронко себя и тут же понял, что надо думать сейчас не об этом. Прошелся по избище, хлопнул в сердцах тяжелыми, будто слеги, руками по плечам духовника и есаула:

- Подымай, дружевья, ватагу! Уходим!

Хлопнула дверь. И три жировые свечи, светившие с аналоя, дрогнули, потянув язычки к киоту. Миронко взглянул на отбеленный тройной подсвечник, за которым тускло желтели иконы, перекрестился и, взяv из угла сулицу и топор, шагнул за порог.

Воздух на улице был палящий, морозно скрипели шаги. Зайдя в подклеть, Миронко вывел коня, подтянул подпруги, приторочил топор и вспрыгнул в седло. Вороной понесся на площадь, откуда несло топотом, криком и палениной. «С чего начинать?» - думал Миронко, видя вокруг бестолковщину и суету. Кто-то с сарай боярских храмин стаскивал крытый возок. Кто-то, светя паклевиной,

врывался в разбитые двери часовни. Кто-то в роскошном, с чужого плеча кафтане, дико блажил, объявляя на весь Городок, что атаманы сбежали.

Миронко отвел правую руку с сулицей за плечо, чтобы метнуть остриём в паникера, но отдумал и дернул уздой.

- Сдаваться, хрещёные, надо! А ясаулов связать...

Оборвался голос, когда Миронко, проехав мимо блажившего, поднял его на скаку за кафтан и швырнул на зубцы забора:

- Сдавайся, одёжна вошь!

После двинул коня на часовню, откуда, жарко пыхтя, выбегали охотники до наживы.

- Не тем оружаешься, дьяволки! А ну живо к войску! Иначе, как ворониц, на сулицу наколю! – И помахал тонким дротиком над ворами, из рук которых посыпались в снег паникадилы, лампады и ризы.

В свете костров проступали бревнистые стены, избы-двойни и заплоти Городка. Миронко скакал на храпевшем коне, и всюду, где он возникал, утверждался порядок.

Первой из Унжи вышла сотня местных повстанцев, во главе которой ехал в розвальнях поп Тимофея, успевший между делами хлебнуть спиртовой медовухи, и потому его звучная голосина не умолкала на всем пути.

Подторопил свою сотню и Ронжин, неизвестно когда сумевший собрать ездовые сани и, наклав в них одежду, еду и казенные деньги, с предовольнейшим видом наехлестывал плеткой коня.

Сам же Миронко замешкался. Задержали две беспрizорные сотни, во главе которых стояли Андрюшка и Митька. Мумарин устал, перепрел и охрип, пока наводил мало-мальский порядок. В конце концов одним есаулом велел быть швецу-устюжанину Ганьке Хромому, угрюому удальцу, висевшему на воеводином крюке, но сорвавшемуся с него и чудом бежавшему от погони. Вторым есаулом назначил Митьку Микерку, определив в помощники к ним Неустроева Левку с Евсевейкой Ивановым. А подоспевшего из села Покровского на двадцати подводах священника Клима уговорил быть старшим среди крестьян.

Ушла последняя сотня. Миронко подался было за ней, да услышал бабаханье из пищалей. По дороге от Галича шла на Унженский Городок дружина стрельцов. Слишком много темнело кафтанов на белом снегу, и Мумарин понял: ведет воевода Василий Нарбеков

большую силу. Спасенье ватаги в ногах. Это стало ясно Миронке, как ясно и то, что люди его устали от долгого перехода и вряд ли сумеют уйти далеко. Мысли ворочались в голове Миронка угрюмо-угрюмо. «Атамана нет, и я теперь ответчик за войско. Тяжок крест, да надо нести...»

Было утро четвертого декабря 1670 года, холодное, чистое утро, когда повстанцы вышли на левый берег заснеженной Унжи. Проводники вместе с Ганькой Хромым шли впереди, показывая дорогу. Шли на Великий Устюг, откуда был Ганька родом. Голубые глаза швеца, повидавшие смерть на кованом крюке, туманно смотрели перед собой. Уж очень хотел усюжанин вывести войско к излукам равнинной реки. Но беспокоила рана под нижним ребром, которую негде и некогда было лечить, и она с каждым днем все сильней болела и бередила. Ганька знал, что он уже не жилец, потому так упрямо и страстно рвался к земле, на которой когда-то родился и на которой хотел теперь помереть. «Успеть бы! – мечтал с отчаяньем Ганька и слышал ревевший под сотнями ног снег российских глухих зимняков.

Как долго еще идти? Когда, наконец, будет отдых? Эти вопросы нес в себе каждый повстанец, благо верил, что войско Нарбекова где-то отстало и вряд ли найдет их следы, которые затерялись в поёмах Ветлуги и Шанги. Трое суток без передыху. Пора бы уже и привал.

Но Миронко противился. Не слезая с седла, показывает рукой на сухую и длинную спину Ганьки:

– Я в ответе за вас! И велю: подьте на Устюг! Тут нарбековцы посекут!

Не вняли ватажники уговорам Миронка. В верховьях крутобережной Шанги раскинули стан, который позднее местные жители назовут Богородским. Неделю стояли здесь. И начали полагать, что дружины стрельцов, потеряв их из виду, вернулась в Унженский Городок. Но в тринадцатый день декабря есаул Микитка Микерка привел надетого в ватное лопотье здешнего зверобоя, который сказал:

– По Меринской дороге войско на вас идет.

В сумерках раннего вечера, в прогалах елей разглядели повстанцы синие, алые и голубые кафтаны. Кафтаны медленно приближались. Тяжело и обломно бухнула пушка. Затрещали, будто сучки под ногами, выстрелы из пищалей. Миронко увидел, как четверо конных стрельцов в меховых полкафтаньях отделились от головного отряда и

врезались в сотню Микерки. Послышались свист клинов, чей-то крик. Храп и стоны. Низкорослый, кудрявый Микерка достал одного из стрельцов секирой, но тут же лишился собственной головы, которая от удара сабли съехала, как с подноса, и покатилась, румяня таежный снег.

Забродила, как брага, кровь в Миронковом теле. Развернул вороного. Метнул сулицу что было силы, сбив с седла убийцу Микитки и с грозно поднятым топором на метровом березовом древке ринулся в бой. Нырком головы уберегся от яро блеснувшей шашки и, взмахнув топором, увидел, как лошадь стрельца понесла на себе безголовое тело. Еще раз навел топором Миронко, но сразу его обронил, почуяв страшный удар бердыша по железному шлему. Пошатнулся Миронко, упал под копыта коня. А падая, дернулся за алые сапоги и, обняв дружиинника так даванул, что у того захрустел позвоночник.

Жуток и гневен поднялся Миронко, опираясь о выскорки пня. Постоял, пока не притих шум в ушах, осмотрелся. Впереди орал пьяным голосом поп Тимофея:

- О-го! Есть годовалыни! А вот и второй! В рай, христовые! В рай сподобляйтесь! Дайте только благословлю!

Но, кажется, батюшку тоже благословили, и он неожиданно замолчал. Хрип коней, бабаханье, визг, удар щита по стволу и вдруг отчаянный голос Ганьки:

- Не видели Миро? Не видели?

Кто-то ответил:

- Бердышом его по башке!

По опушке с вилами наперевес пробежали двое повстанцев. Третий упал и сразу же был затоптан стрелецким конем. «Где мое войско? Где?» - беззвучно шептал Миронко, и крупные скулы его тревожно и горестно обострялись. Услышав звон бердыша, Миронко шагнул и увидел шагах в тридцати полнолицего, рослого, с черной бродкой стрельца. «Нарбеков!» - понял Мумарин по длинному с белыми бляшками куяку, надетому на кольчугу.

Воевода стоял на поваленной елке и взмахом копья показывал ближним стрельцам, что надо делать. Старшина догадался: «Уськает на меня. Ишь, царёв пёс, пятерых послал. Мало? Сердце Миронка забилось, как перед смертной сечей, в которой еще неизвестно, за кем будет верх. «С Нарбековым бы схватиться!» - подумал Мумарин с какой-то радостной злостью и, хоронясь за березовый ствол, достал

топором молодого стрельца, и тот, роняя бердыш, изумленно и тихо осел на припорошенный снегом вереск.

Миронко к другому стволу отскочил и хотел повторить свой маневр, но в этот момент за спиной заржал остановленный конь, кто-то схватил старшину за оборы сибирки, и Мумарин, теряя шлем, повалился в крестьянский возок.

- Гони! – гаркнул знакомый голос. Миронко привстал и приметил в вожжах устюжанина Ганьку. Швец гнал коня по жуткому коридору стрелецких секир. За спиной швеца, навалившись на тесаный борт, пристроился Ронжин, молотивший тяжелым *ослопом* по шапкам стрельцов и медвежьим басом ревевший:

- У-ши-бу-у!!!

Мумарин сел на мешок, лежавший в заду возка, и заметил на склоне заснеженной Шанги остатки отряда. Ватажники были окружены.

- Чево с ворами-то? Сечь? – послышалось от реки.

- Виселицы готовы! – откликнулось с правобережья.

Миронко одрог, увидев среди стрелецких кафтанов одетого в серый армяк попа Тимофея. Андронников был с веревкой на шее и в разрубленной надвое камилавке, в разрубе которой краснел голый череп.

«Вот и конец, - скорбно подумал Миронко, - всех смерть подровняла, кроме нас...А мы-то чем лучше погибших?» Неодобрительным взглядом окинул Мумарин темные ели, нависшие над дорогой, и мокрые, в пене, бока коня, по которым Ганька хлопал вожжами, а Федька Ронжин хлестал батогом. Обозлился Миронко.

- Стой, теклецы! Поворачивай к стану! На выручку! Ну-у?

Ганька взглянул на Миронка с укором, а Ронжин невесело усмехнулся:

- На тот свет торопишься, Миро?

- Угадал! – заорал Мумарин.

- Не лучше ли погодить?

- Не могу. Совесть карает. Виновен я...

- Виновен не ты, а правители наши, - сунулся в разговор молчаливый Ганька.

Миронко вздохнул:

- Вот их и надо ссадить с правленья! А чем? Где-ка войско? Было да сплыло.

Ганька опять к нему повернулся.

- Не ерепенься, Миро. Поприостынь. Лучше скажи: правителей кто ненавидит?

- Кто, кто, - буркнул Миронко, - черный народ.

- Вот ты черный и подымы под свое пестрядинное знамя... Все пойдут за тобой.

- А где знамя? - спросил отходчивым голосом старшина.

- Там оно! - протянул Федька сосновый ослоп, показывая вдоль дороги. - Станька с Васькой везут на передних санях. А за ними - Аничка с Трошкой. Они одёжу еще везут да харчишки. А ватажные деньги при нас.

- И много денег? - чуть оживился Миронко.

- А ты посчитай, - посоветовал Федька, - вон мешок-от! Как раз под тобой!

Всматривался Миронко в белый сумрак тайги и мрачно гадал: сколько повстанцев осталось в живых? И что теперь с ними станет?

Но не Мумарину, а воеводе Максиму Ртищеву, что на Тотьме, будет дан ответ на этот вопрос. И даст его воевода Василий Нарбеков, посылая с гонцом в город Тотьму письмо:

«...По указу великого государя... я ходил на воровское собранье. И милостиво всесильного бога... вора Илюшку, и товарищей ево побил больше 500 человек в разных местах. Да живых взято 75 человек, а завотчиков, которые к нему приставали, сыскав, перевешали. И в тех во взятых ворах взяты ево Илюшкины товарищи... выборной старшина Евсевейко Иванов да сотник Левка Неустроев, да есаул, да знамя. Да поп, который с ним, вором, ездил...»

Откуда мог знать Миронко, что ватажка его была единственной и последней, кому удалось уйти от стрельцов. Повалил крупный снег, склонив все следы, и можно было спокойно выбрать дорогу. Выбирал ее Ганька, через Малиновку, Пыщуг, Блудново, Никольск и Кичменгский Городок правя коня на Великий Устюг.

В город въезжали в ночь на январские святки, когда посадские люди ходили со звездами по дворам, рядились в кикимор и домовушек. Плясали и пили хозяйствское пиво.

Свобода! Кому она не мила! Сильнее всех опьянен был ею швец Ганька. Как он истово кланялся главкам каменной церкви! Как завистливо, нежно глядел на гуляющих людей! Даже боль под ребром перестал ощущать, и поверил беглый стрелец в свою удивительно долгую жизнь, которой не будет конца и края.

И Мумарин был опьянен незаказанной волей. К его услугам: купленный дом, мешок серебряных денег и ватажка отважных друзей, с которыми он решил поднять устюжан на бунт и вести их до Камской Соли. А оттуда весенней водой плыть по Каме до Волги, где и встретиться с главным казачьим войском, во главе которого Стенька Разин.

Быть такому! В этом Миронко не сомневался. Но быть, разумеется, ближе к весне. А теперь, в январские дни, в минуты отдыха и разгула ему важно было понять: каково настроение у народа? Чем живет? Кого не терпит? Кто обидчиком у него? Стал Миронко ходить по кружалам, и там, поминая покойных друзей, угождал любителей-винопивцев. Из чаши. Из ендовы. Из стопы. Из кубка. И речи опасные говорить. И предсказывать день, когда возьмутся за топоры и пойдут лобанить кормлённых господ те, кто под гнетом и под неволей.

«Где теперь атаман? – вспоминал Миронко Пономарева. – Во бы с ним увидаться!..» Но напрасно тешил себя Миронко надеждой. Давно Илюшка дух испустил и волей жестокой судьбы, бездыханный и мерзлый, продолжал путешествовать по земле. В утре 22 декабря воевода Тотьмы Максим Ртищев напишет воеводе Галича Семену Нестерову послание:

«... И мертвое тело атамана казачья Илюшки Иванова Порисейского монастыря слушке Микитке Жукову с товарищем отдал им на руки... И слушка монастырский Микитка Жуков с товарищем с Тотьмы к тебе в Галич отпущены декабря в 22 день».

А неделю спустя Семен Нестеров составит царю отписку:

« И декабря, государь, в 25 день с Тотьмы того вора Илюшкино мертвое тело в Галич привезено, и воры ж его (Илюшкины товарищи) увидя его тело, сказали, что он, вор Илюшка, атаманом у них был и завод его и собранье воровское было... И я, холоп твой, тово вора Илюшкино мертвое тело велел всему народу объявлять, чтоб в народе впредь смятения не было. И письмо над ним, написав его, велел прибить к столбу...»

Кто знает, сколько бы дней провисел на торговой площади атаман, если бы воевода Василий Нарбеков не попросил мертвое тело направить к нему, в Ветлужскую волость, для устрашения местных крестьян. И об этом напишет царю галичский воевода:

«...И генваря, государь, в 12 день писал ко мне холопу твоему, в Галич стольник и воевода Василий Нарбеков, чтоб мне то воровское

тело прислать к нему в Ветлужскую волость на Лапшангу для оказыванья же всяких чинов жилетцким людям, а я , холоп твой, то воровское тело...пошлю генваря ж в 15 день».

Ничего об этом не ведал Миронко Мумарин. Продолжал ходить с ватажкой по кабакам. Заводил знакомства. Выслушивал жалобы и обиды.

Но слишком уж был открыт и доверчив Миронко. В какие годы не было за застольем среди товарищей и друзей изветчиков и фискалов! Они-то и порешили судьбу ватажки.

На закате январского дня, когда по калиткам, ставенкам и заборам пощелкивал сиверок, в курень-дом ввалилась стрелецкая стража. Не успели Миронко с Федькой схватиться за топоры, как тут же связали их и доставили к воеводе. В этот же вечер были взяты и остальные. Кто они? Проясняет список сидельцев тюрьмы:

«Вора Миронкова прибору Мумарина – Стенька Сивков, Васька Панков, Ивашка Якшаровых, Аничка Константиновых, Трошка Торопов, Ганька Хромой ».

Как зачинщиков бунта Миронка Мумарина, Федьку Ронжина, Ганьку Хромова под стражей стрельцов отправили в дровнях в столицу. Об этом тотемский воевода Ртищев в письме к соликамскому воеводе Ивану Монастыреву напишет: «...Миронко с товарищи в семи человек поиман на Устюге Великом. И тот Миронко в трех человека посланы к великому государю к Москве, а четыре человека сидят на Устюге Великом в тюрьме...».

От Устюга до Москвы холодил бунтарские лбы палящий мороз. Мелькали перед глазами завитые снегом нивки, леса и полосатые скучные версты. Глаза у Миронка тускнели. Он был ко всему безучастен, ибо простился с жизнью, и ничего его больше не волновало. «И тово довольно, - думал Мумарин с мертввой усмешкой, - сто дней жил на воле...».

Под Унженским Городком, взметая метель, попалась навстречу тройка каурых. В санях, за спинами чернечев виднелось мертвое тело. Узнал Мумарин Пономарева, однако не вздрогнул, не ужаснулся, а лишь угрюмо сказал самому себе: «Во как встретиться довелось. Ну да ладно. До увиданья, Илюха. До увиданья на новом свете».

Был белый, с мелким снежком и неярким солнышком полдень, когда Мумарин, Хромой и Ронжин, без шапок, в башихах, со связанными руками ступали при страже рейтар у кремлевской стены.

Стояли толпы. Всех ближе: белое духовенство, бояре, дьячки казенных палат. Подальше: подьячие государевой службы, дьяконы, монастырские служки. А в самых задах: жестянщики, банщики, квасники, дегтяры, сторожа, рассыльщики и холопы. С кремлевской стены смотрел на крестопреступников красивый, дородный царь в остроконечной малиновой шапке и кунтуше с золотыми нашивками по подолу.

«Будут четвертовать», - догадался Миронко, увидев помост с темной плахой, три острых кола и яму для сброски отрубленных рук и ног.

Два палача в длинных, по локоть темно-коричневых рукавицах, подтолкнули Федьку к помосту. Ронжин затравленно обернулся, и в задрожавших его усах Мумарин заметил отчаянье, страх и желание что-то крикнуть.

- Терпи, - молвил Миронко и, чтобы не видеть казни, уставился взглядом в носы разбитых бахил. Сколько так он стоял, слушая гул толпы и тяжелые жесткие стуки, Миронко не помнил. Подымая глаза, не увидел и Ганьки. «Теперь моя очередь», - понял он.

Навстречу ему в темно-коричневых рукавицах шли два молодых палача. Миронко позволил себе довести до плахи. Позволил надеть на себя мешок. Позволил свалить себя на лопатки и приготовился вытерпеть смерть. «Раз!» - услышал он первый удар, и сердце его рвануло. «Два!» - оглушающее бухнуло второй удар. «Три!» - раздался и третий, однако Миронко его не услышал.

НЕЧИСТАЯ СИЛА

«В 1674 году в Тотьме сожжена была в срубе при многих людях женщина Федосья по оговору в порче, при казни она объявила, что никого не портила. Но что перед воеводою поклепала себя, не перетерпя пыток».

С.СОЛОВЬЕВ

Пять лет живет Федосья без Гани. Мужа ее за сочувствие вору-разинцу Ильке Пономареву били кнутом в зимнем застенке. Бил его молодой рослый кат Омелий Кудерин, который, желая понравиться новому воеводе, усердствовал так, что засек Ганю насмерть. С тех пор и вдовствует молодуха с чутошной, как рукавичка, дочкой Анютой, перебиваясь с репы на квас. Хорошо, хоть она разумела в лекарственных травках, из которых варила настойки от боли в сердце и животе, от тоски, чесотки и лихоманки.

В крохотном домике над рекой, где жила Федосья с Анютой, пахло, как на лесной опушке, и кто сюда заходил, с минуту, поди, привыкал к густому духу бессмертника, тмина, аниса и зверобоя. Пучки подсушенных трав висели над печью, над голбцем-ленивиком, над полатью. И от одежды вдовы — короткой, на пакле стеганой душегреи, передника с пышной грудиной и лубяного кружка тоже пахло травами и цветами.

Ремесло у молодки было опасным. Ее зазывали взглянуть на распухших младенцев, на пьяниц-мужей, чьи животы разрывало от выпитой браги, на старииков с мертвецкими тенями под глазами. «Смерть одна, а недугов пропасть», — тоскливо думала Федосья и, заходя в покой больного, гадала по виду его: жить ему или нет? Пока ей везло. Больные, кого она исцеляла, хоть и тихо, но поправлялись. А ежели кто помрет? Федосья бледнела. Знала она: этого ей не простят. Виновата — не виновата, а держи перед миром ответ. На нее непременно покажут пальцем: «Колдунья!» А у колдуньи дорога

одна – за глубокий Кореповский ров, в огромный, без пола и окон, пахнущий тленом убогий дом, где хоронили тела казненных.

Полагала Федосья, что травки не подведут, и поверья, где надо, подсобят. Поверья, шепоты, наговоры, с чем родилась она, с чем живет и с чем уйдет когда-нибудь от людей. Жила Федосья открыто, не пряча секретов ни от кого. Порою к ней приходили одетые в гуньку нищие бобыли. Дознавались: как сладить с тем-то и тем-то недугом? У Федосьи ответ нехитрый:

- Сам недуг скажет, чего он хочет.

- Это как?

Федосья учила:

- Что в рот полезло, то и полезно.

Однако допытчикам этого было мало.

- Отчего в груди, как в печи, сохнет и сохнет? – спрашивали одни.

- Дождитесь великого четверга, – наставляла вдова, – помойтесь росой прежде ворона – цельной год будете в здраве.

- Чего бы такое содеять, чтобы зубы не ныли и не крошились? – спрашивали вторые.

- Вичку с рябины сломите да расщепите и суньте в рот перед сном.

Всем готова была угодить молодуха. Всех жалела. Всем помогала.

Кроха Анюта нет-нет, да и спрашивала ее:

- Мамо, я тожко буду дюжая, как и ты?

Федосья глядела на белое, как яичко, лицико дочки и улыбалась:

- Будешь, челядко! Ты гораздая у меня, ведаешь страсть как много!

- Ой, мамо, еще не ведаю про росу.

- Эко?

- А пошто она божья? Нешто бог положил её на траву?

Федосья с готовностью объясняла:

- Не бог, а река. Водица с нее ночесь паром вышла, а утром на травку и опустилась.

На кроху свою Федосья не наглядится, точь-в-точь ягода луговая. От горшка два вершка, а в щечках, глазках и шейке проступают приметинки красоты. Да и есть в кого быть пригожей! Федосья каждое утро, когда спускается к Сухоне за водой, глядит на свое отражение, видя в нем незнакомую молодуху с прямыми белыми волосами, опустившимися вдоль щёк. У молодухи высокая шея, большие и черные с блеском глаза, грудь под стеганой душегреей затаилась, будто сторожка птица, готовая вот-вот вспорхнуть. Не легко Федосье с такой броской внешностью обороняться от

приставал. Особенно в потеми, когда возвращалась с ношней травы из лесу, и кто-нибудь из боярских сыновей подстерегал ее на затинной тропинке. На всякий случай держала вдова при себе домашнюю мышь, которую и пускала охальнику под рубаху, а лучше еще под порты, когда тот, греховно пыхтя, пытался сорвать с нее душегрею. Насильник, почувствовав мышь, обмирал, жутко взвизгивал и делал такой топоток, что все перед ним расступалось. И глядеть бы вдове вслед охальнику, зубоскаля. А нет. Не могла, не умела и не хотела. В домик свой заходила, как с поруганья. Сердце болело от мысли, что нет заступника у нее, что каждый волен над ней поглумиться. Дочка, чуя, что маме плохо, прижималась к ней ласково, как овечка, и начинала расспрашивать у нее:

- Мама, душа у козлика есть?
- Ох ты, олябышек! Есть, конечно!
- А Ваньша Сивый, - называла Аньота соседского мальчика, - баял, душа-де у козлика – пар.
- Бряковатый твой Ваньша, наянливой, пустомельной.
- Нет, он хороший.
- Воно? Хороший? Как сбаял-то он, не помлишь?
- Помлю, мамо. Козлик, сказал он, стоит на копытцах, и пышет, и дышет, а душа, яко пар.
- Да это он про медяной самовар. Загадышка есть такая.
- Мамо, а про тебя говорят: будто ты ведаешь, что бывает на мертвом свете?
- Это нечистая сила ведает, а не я.
- А ты знаешься с нею?
- Как же знаюсь-то я, ежли ни разу ее не видала.
- А кто видал?
- Тот, кто бывал за краем земли.
- А разве такие есть?
- Есть!
- Ой, мамо! Коли не жутко тебе, покажи.
- Ладно уж, - соглашалась мать и выводила девочку на крыльцо, за которым в тиши надречных боров томился клюквенно-розовый горизонт, куда заходило солнце и откуда всходила луна.
- Золотой хозяин уходит за край земли, - говорила она, - а медяная хозяйка с края земли приходит.
- Это же солнышко и луна! – смеялась Аньота. – Им дивно! Они на мертвом свете бывают! А я?

- На мертвый свет не надо, челядко, торопиться. Никогда, никогда не надо...

Успокаивалась вдова, отлегала от сердца обида, вечер казался уже приветным, и душа ее с нежностью принимала синеющий сумрак реки, что жался к обоим оконцам, и игривые пальчики дочки, перебиравшие желтые пуговки дикой рябинки, и трещавшую под огнем сухую лучину, и холодок росистого луга, который плыл по избе от подвешенных трав. И хотелось молодке грустить и любить и думать о чем-то заветном, что однажды явится, как загадка, хорошо изменив ее жизнь. И все чаще виделось ей лицо Парамошки, черноусого пушкаря. Тот робел перед ней и однажды, насмелясь, сказал, что готов ее вместе с дочкой ввести в свой двухжитный из тесаных бревен рубленый дом.

Каждый вечер теперь она ожидала сватов. И сегодня, заслышиав стук каблуков, встрепенулась, радостно собралась и взглянула на дочку, которая сладко уже спала, уклав личико на столешню.

Но не сват вошел в дом, а подъячий Омелий Кудерин, широкоплечий, с долгим лицом человек в коротких кожаных котах, обшитых по верху алым сукном. Среди всех целовальников и подъячих был Омелий самый умнейший. В подъячие выбился из низов. Кем только он ни служил, чтоб продвинуться вверх! И житничным стражем, караулившим нивку у воеводы, и россыльщиком съезжей избы, и главным катом застенка, и вот теперь первым помощником дьяка по записи крестопреступных речей.

Не могла Федосья смотреть на Кудерина без презрения, помня, что он запорол ее Ганю.

- Чего тебе? – сухо спросила.

Подъячий вытянул голову из кафана.

- Пойдем до меня. Сынок Семушка занедужел.

- К лекарю обращайся!

- И обративсе, да дюже в подпитии, дьявол.

- Всё одно не пойду.

Омелий набычился, и от глаз к волосатым вискам, как петушиные лапки в суглинке, пропечатались злые морщины.

- К нищим ходишь, а к государеву писарю не жалаешь?

- Эдак!

Глаза у Кудерина пожелтели.

- Не гневи, Федосья!

- Что жа?

- Могу содеять худое. Так содеять, что будешь страдать за Семушку моего, как за свою девульку.

- Угрожаешь?

- С вами иначе нельзя.

- С кем – с нами?

- С чернью гунявой!

- Не сам ли оттуда выполз?

Омелий побагровел. Он терпеть не мог тех, кто его понуждал вспоминать о своем недородном роде.

- Коли ты не пойдешь...

- Пойду, - покорилась Федосья и, надев шерстяной с борами кафтан, взял корзинку с настойками и корнями, вышла вслед за подъячим.

От лесов на той стороне реки, от Сухоны, от прибрежных копёшек сена надувало осенним, ночным, и в подуве ветра слышно было мяуканье матери-кошки, на глазах у которой кто-то черненький, еле видный, топил оробело пищавших котят. Нехорошим предчувствием охватило вдову, и она замедлила шаг, поглядев на могутную спину писаря с оторопелостью молодухи, у которой вот-вот отымут дитё. Кудерин остановился.

- Поставиши Семушку на ноги – дам четверть пшеницы. Не поставиши – пожалуюсь воеводе.

Услыхала Федосья, как забилось ее ретивое, и посад теремов, где жили городовые, старосты, дьяки и сам воевода Непейцин, показался ей затаённым. И пока она шли по улице избранных богачей, что тянулась от земской избы до храма Богоявления, молодуха казнила себя за то, что сдалась на Омелины уговоры.

Обитал Кудерин в просторных хоромах, пол которых пестрел от холщёвых половиков. Федосья открыла дверь в спаленку с красным оконцем, увидела долгую, точно дощаник, кровать. На ней, сбив одеяльце, метался в бреду раскаленно-малиновый мальчик. Заныло темечко у вдовы. «Не жилец, - смекнула она и, повернувшись к Омелию, попрекнула:

- Где прежде-то были?

- Чево?

- Спохватилися поздно.

Кудерин приложил руки к груди:

- Вылечи! Умоляю! Я тебе, окромя пшеницы, дам тридцать алтын серебра.

- Огневуха! Али не видишь?

От горячего тела ребенка шибало, как от печи, глаза закатывались под лоб, а губы шептали:

- Сымите птицу. Она меня душит...

На груди у больного сидела муха. Федосья сгнила ее, и мальчик вздохнул:

- Легота...

Федосья всю ночь продержурила у больного. Шептала над ним наговоры, примочки холодные изложала, поила отваром из девясила. Но, кажется, зря. К утру паренек ослабел, стал хлопать ресничками, как петушок, жалобно хинькать и звать слезным голосом тятю и маму.

Выходя из спальни, вдова встретилась с мертвым взглядом хозяина дома. Он еще не решил, как ему с ней поступить, но решит, едва осознает, что дней у Семушки стало мало.

Ждала Федосья несчастье свое, ибо знала: теперь оно с ней, и бежать от него бесполезно. И хотела она одного – чтобы пришли за ней темной ночью, когда девочка будет спать и не будет видеть, как уводят из дома маму.

Но явились за ней поутру. Два рассыльных из главной губной избы в треухах и ватных сибирках едва втиснулись в теплую кухню, как сразу заторопили:

- Сбирайсь! Велено к воеводе!

- Мамо. Можно с тобой? – попросилась Аньота, посмотрев на мать с тихой мольбой.

- Не челядко! Дома сиди! – Федосью душили слезы, а она понуждала себя улыбнуться, чтобы дочку до времени не клевить, не расстраивать ей сердечко. – Я скоро! А ты поиграй. К Ваньше сбегай. Ведь он до тебя хороший?

- Хороший.

- Вот к нему и поди.

Как хотелось вдове обнять на прощанье свою ненаглядну, поцеловать, утешить ее, приласкать. Но она скрепила себя, заперла в груди горестный плач. Пусть Аньота не знает, что больше они не увидятся никогда. Так и ушла Федосья, не оглянувшись.

Было холодно. На замерзшую глину дорог, на заборы, хоромы и терема падал снег. Сквозь него, как сквозь саван, светило бледное солнце. И кто попадал на пути – водовоз ли на громкой телеге, кузнец ли в суконной поддевке, стрелец ли с копьем на плече, дворовая ли

прислуга – все глядели на молодуху с участием и боязнью, как глядят на принявших предсмертную схиму хворых монашек.

В глубине двора высокой губной избы притаился бревнистый застенок. Туда Федосью и провели.

За белым судейским столом сидел лысобровый Непейцин, новый хозяин уезда, человек беспощадный, кого государь Алексей Михайлов послал навести на Тотьме порядки. Прежнего воеводу Максима Ртищева за вялые действия против воров убрали из города навсегда. Андрей Непейцин подобной участи не хотел, потому, не жалея здоровья и сил, следил, чтобы не было в городе бою, распутства и колдовства.

Увидав Федосью, он сдвинул лысые брови и глухо спросил:

- Она?

- Она, - отозвался Омелий Кудерин. Подъячий был бледен и сух, под глазами синели скорбные тени. Вчера он сына похоронил, вчера же сходил к воеводе, насказав напрасное про Федосью.

- Это ты навела на Омелькина сына порчу?

- Ничего я не наводила.

- Однакоче помер он?

- Ведала: так и будет!

- Стало быть, в колдовстве своем сознаешься?

- Еще чего?! – изумилась Федосья.

Воевода взглянул на Кудерина. Тот сидел за соседним столом и на длинном столбце записывал пыточный протокол.

- Слышал от слова до слова, - сказал подъячий, меряя молодуху язвительным взглядом, - как ты накликала на сына нечистую силу.

- Было такое? – спросил воевода.

Вдова объясила:

- Дак это был заговор от недуга. Я не скрываю. Вото-ка он: «Была за городом на погосте, видела мертвых. У мертвых головушка не горит. Так и у нашева раба божия Семена Омелина не гори».

- Ведьмин заговор, - заключил воевода, - теперь я в этом не сомневаюсь. Так винишься, спрашиваю тебя, что ты сестра сотоны и лукавому дочерь?

- Не!Не! – Федосья в испуге сдалась на шаг и увидела, как пожилой, в стрелецком кафтане палач взял с тисов железные клещи и тяжело приблизился к ней.

- Вырывай! – приказал воевода.

И кат, обхватив Федосью левой рукой, правой – лязгнул клещами по низу носа. И молодуха, зайдясь в неистовой боли, забилась, как рыба на берегу.

- Признаешься, что ты колдунья?

Федосья, хлюпая кровью, посмотрела на палача, который готовил веревку с петлей, и вся ослабла, сломилась, как тонкая веточка на морозе.

- Да! Да! Колдунья!

- Это ты нагнала на дитё погибель?

- Я! Я! Нагнала!

Воевода откинулся к спинке стула, лысые брови его разошлись, а взгляд стал вялым и недовольным. Он полагал, что провозится с этой красавицей долго. А она, вон, сразу и повинилась. Он даже ей посочувствовал и, тая про себя запретную думку, спросил:

- Не бедно будет тебе, коли ты за глаза и в глаза прослыvешь, как нечистая сила?

- Еще неведомо, кто прослыvет, - вспылила Федосья.

- Это как понимать?

- А забудется всё хорошое и худое.

- Ну и что?

- А то, что останется только правда.

Непейцин приобозлился.

- Что ожидает теперь тебя - знаешь?

- Веревка меня ожидает, - вздохнула Федосья.

Непейцин поднял глаза на Омелия, и подъячий смекнул, что ему предлагают выбрать для знахарки кару. Какую, он скажет, такая и будет.

- Нет, не веревка, - Кудерин кривенько улыбнулся, взглянув на вдову с удовольствием палача, которому нравится мучить. – Ожидает тебя только самое, что и худое дерево, когда оно вырастает в сук.

Не стала вникать Федосья в иносказание бывшего ката. Ей было не до того. Не столько боль, сколько скорбь ее угнетала и еще какая-то мертвая отупелость, и она, качаясь, как сонная, пробрела за стрельцом в соседний с застенком прируб.

Здесь, в промозглой, пахнущей крысами темноте нежилого прируба просидела она полдня.

Просидела и ночь.

Прогремели засовы.

В сопровождении трех стрельцов шла Федосья, слыша вокруг, как на ярмарке, громкие голоса, чей-то смех, прибаутки, цокот подков и конское ржанье. Шла на Виселку, так прозвали лужок за Тотьмой, где сто лет с небольшим назад кромешник Ивана Грозного Васька Фядотов, низкого звания человек, по-рысиному мстительный и коварный, казнил неугодных ему бояр.

Падали с неба снежинки, и в них, как в куриных перьях, валила толпа слобожан, и каждый хотел взглянуть на колдунью, такую красивую, молодую, ступавшую с низко опущенной головой, на которой, будто венец, красовался, играя лентами, желтый лубок.

И черноусый пушкарь Парамошка глядел. Только глядел исподтиха, как разведчик, остерегаясь попасть на глаза обреченной, точно могла она вдруг прокричать ему что-то такое, отчего он лишится всех чувств.

На берегу речки Ковды, откуда виднелся Спасо-Суморина монастырь, толпа, как споткнулась, и взгляды всех поневоле сошлись на блестевшем слюдой фонаре, что висел над столбом, окропляя покойницким светом свечи наспех сделанный сруб.

Федосья вошла в этот сруб, как в колодец. Дверца за ней со скрипом закрылась. Пахнуло смольём. Молодуха растерянно огляделась. Сруб был из ольховых сухих кряжей, под ногами щельё, а в пазах - пластины бересты. Брось сюда уголек – и в минуту охватит огнем.

- О-о! – простонала вдова и увидела дьяка Луконю, седого, важного старика, который уже шелестел приговорным столбцом, готовясь его прочитать до последнего слова. И жалко вдруг стало себя Федосье. Так жалко, что, посмотрев сквозь толпу, она увидела, как наяву, крохотный дом над рекой, а в нем с пышным веником из душицы свою пятилетнюю кроху. Но что это? Что? Молодуху, будто кто подтолкнул. Среди армяков, крашенинников и кафтанов она разглядела родимое чадо. Душа ее натянулась, как проволока в мороз. При виде замурзанно-чуткошного лица, зарёванных глазок, ручек, взметнувшихся ей навстречу, покривившихся губок, наверное, вскрикнувших: «Мамо!», вдова ощутила в груди такую щемящую боль, что, вскинув голову к небу, отчаянно прокричала:

- Господи?! Ей-то муки пошто такие?!

Стоявший под фонарем воевода Непейцин выразительно поднял голую бровь, и дьяк Луконя, заметя знак, развернул бумажный столбец. Над толпой горожан, над срубом, над Виселкой полетел

торжествующий бас. Едва он замолк, как два быстроногих стрельца с горящими факелами подбежали к срубу, швырнули туда по огню.

И тут в голове Федосы мгновенно пробило – что этот день уже не её! День, который стоял в тесной очереди за смертью. И вот он уносится от нее, исчезает в толпе, заслоняя ее от людей закрутившимся розовым дымом. Испугалась она, что уйдет в мир иной с нехорошой молвой.

- Не верьте! – взмахнула руками Федосья. – Никого не портила я! Так пытал меня воевода, что я не стерпела и наклепала напраслину на себя! Крестной матерью у меня – пресвята богородица, у изгоя – нечистая сила...

Голос стих, и тотчас же в толпе прокатился шелестный ропот. Все глядели на огненный столб, на нелепо горевший фонарь, на кружившиеся снежинки. Снежинки таяли, падая в сруб, будто слезы гонимого человека, на помощь к которому не придут.

Словарь забытых слов

Камчатный – из шелковой китайской ткани.
Чепрак – подседельная подстилка.
Басалай – холостяк.
Ужища – веревки.
Ложня – спальня.
Губная изба- место, где рассматривались уголовные дела.
Хоругвь – знамя.
Острог – огорожа из бревен.
Затинная пищаль – крепостное, приложенное к стене ружье.
Паголенки – чулки с галошами.
Коты – полусапожки.
Крыж – крестообразная рукоятка.
Тесак – короткая сабля с толстым обухом.
Рундук – крыльцо.
Тайнишная – доступная для избранных.
Бердыш – широкий топор с гвоздевым обухом.
Мисюрка – воинская шапка с железной маковкой и сеткой.
Панагия – иконка, носимая священнослужителем на груди.
Перезор – позор.
Целовальник – хранитель, продавец, сборщик.
Магерка – иноземная валяная шапка.
Алебарда – топор и копье на длинном древке.
Балахон – летняя верхняя крестьянская одежда.
Треух – шапка с ушами и задником.
Кранки – смерть.
Зипун – кафтан без стоячего ворота.
Подъячий – служащий при дворе воеводы.
Подклеть – подвальное помещение.
Заплотка – стена для защиты.
Домовина – гроб.
Кабальные – подневольные.
Лобанить – убивать.
Кошуля – рабочая верхняя рубаха.
Яруга – овраг, лог.
Серденята – враги.
Клобук – монашеское покрывало.
Манатья – накидка.
Чернец – монах.
Голутвенный – отборный, из низов.
Кат – палач.
Сулица – метательное копьё.
Ослоп – жердина.
Затинная – глухая, чуть видная.
Кунтуш – каftан на меху.



*Если взглянуться в нашу историю, как в
сегодняшний день, то можно почувствовать
в ней самого себя и увидеть закрытые тайны,
на которых лежат века. Как проникнуть в
них, чтобы прошлое выступило навстречу и,
проверив тебе, приоткрыло себя?*